

Викентий Вересаев

Живая жизнь



Викентий Вересаев

Живая жизнь

«Public Domain»

Вересаев В. В.

Живая жизнь / В. В. Вересаев — «Public Domain»,

«Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце, – тогда жаркая духота стоит над землею, пахнет известкою, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно...»

Содержание

Живая жизнь	5
Человек проклят	5
I	5
II	8
III	10
IV	12
V	13
VI	16
VII	18
VIII	21
IX	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Викентий Вересаев

Живая жизнь

Живая жизнь

Человек проклят (О Достоевском)

Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!.. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!
«Кроткая»

I

«Одни только люди, а кругом них молчание»

Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце, – тогда жаркая духота стоит над землею, пахнет известью, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно.

«– Любите вы уличное пение? – спрашивает Раскольников. – Я люблю, как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветра, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают...»

И так везде у Достоевского. Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и моросящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какую-то особенную, болезненную любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, – какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит», – и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому.

Прямо удивительно, как неузнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дрянненьком номере на Петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами. Навсегда врезывается в память картина холодного отчаяния одинокой человеческой души среди холодного равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон:

«Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз; светлая, про-

хладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках» и т. д.

Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какою-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной Мэри.

Сон Версилова:

«Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, – словами не передашь... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей».

Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания природы, например, у Толстого или Тургенева. Вот пара строк из небрежного частного письма Толстого: «Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. *Пошлое*, но невольное сравнение: дистиллированная вода и *вода из ключа, ломающая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее*». Ведь вся душа вздрагивает от этой «пошлой» пары строк. А что могут шевельнуть в душе те «прелестные пейзажи», «волшебные панорамы» и «ласковые голубые волны»?

Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

Легенда о Великом Инквизиторе: «Настает темная, горячая и *бездыханная севильская ночь*». Воздух *«лавром и лимоном пахнет»*... Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит: «Как только солнце покажется и *«зазвучит»* на небе (кто это сказал в стихах: «на небе солнце зазвучало»? Бессмысленно, но хорошо!), – так мы и спать». И несколько раз он повторяет этот образ: «когда солнце взойдет и *«зазвучит»* на небе».

Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, – и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты.

Глядя на радость и ликование природы, самые разнообразнейшие герои Достоевского испытывают странное, самим им непонятное чувство какой-то отъединенности.

Раскольников стоит на Николаевском мосту. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму, и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. *Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...* Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению».

Юноша-нигилист Ипполит («Идиот») пишет в своей исповеди:

«Для чего мне ваша природа, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!»

Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение Ипполита. «Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Пред ним было блестящее небо,

внизу – озеро, кругом – горизонт, светлый и бесконечный. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце, каждое утро на водопаде радуга; каждая «маленькая мушка во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда».

Далека от человека жизнь природы; «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки и животные. Их нет вокруг человека, он не соприкасается душою с их могучею и загадочною, не умом постигаемою силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное, – и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное того же мрака, которым полна природа.

Дрянной трактирчик на Петербургской стороне. «Пахло пригорелым маслом. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый» («Подросток»).

Собака Азорка в «Униженных и оскорбленных»: «Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она целый день лежит где-нибудь мертвая, и, как зайдет солнце, вдруг оживает».

Перезвон в «Братьях Карамазовых» – «мохнатая, довольно большая и паршивая собака... Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая... Коля, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг».

Мельком является еще в «Бесах» «скверная, старая маленькая собачонка Земирка», в «Двойнике» – паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные, которых мы встречаем в чисто художественных произведениях Достоевского.

Правда, есть еще в «Неточке Незвановой» невероятно свирепый и невероятно умный бульдог Фальстаф, есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкред (который, однако, ухитряется не сбросить с себя взобравшегося на него одиннадцатилетнего мальчика). Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно мертвы, чтобы брать их в счет. Таких псов и коней можно рисовать, ни разу в жизни не видавши собаки и лошади, – достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов.

Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и пресмыкающиеся, наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги и пауки, пауки без числа. Они непрерывно сняты и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды животной жизни ползут в душу человеческую, чтоб оттолкнуть и отгеднить ее от мира, в котором свет и жизнь.

И мир мертвеет для души. Вокруг человека – не горячий трепет жизни, а холодная пустота, «безгласие косности».

«Косность! О, природа! Люди на земле одни, – вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» – кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце

живит вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец? *Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание, – вот земля!*» («Кроткая»).

II

«Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»

И одиноко, – сами, как пауки, – сидят люди в глухих углах и смотрят на мир.

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастической, сосредоточенной в себе жизнью.

«Смеркалось, накрапывал дождь. Ординов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» («Хозяйка»).

«Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества» («Записки из подполья»).

И так почти в каждом рассказе... Большие романы, с героями, наиболее близкими душе Достоевского. «Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись... Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу». «Я – человек мрачный, скучный, – говорит Свидригайлов. – Сижу в углу. Иной раз три дня не разговаривают».

Подросток пишет: «Нет, мне нельзя жить с людьми! На сорок лет вперед говорю. Моя идея – угол... Вся цель моей «идеи» – уединение...» Версилов говорит ему: «Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей».

Кириллов в «Бесах» «не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит». В убогом своем флигельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одиноко и загадочно проходит сквозь жизнь никому не понятный Николай Ставрогин. Одиноко сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов.

Связи с широкою и таинственной жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно *из себя* любить людей или даже просто «быть благородным».

«Да что мне до будущего, – восклицает Подросток, – когда я один только раз на свете живу! Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, *если мне за это – ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига?*»

Человек органически не способен любить людей – это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

«По-моему, – говорит Версилов, – человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. «Любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».

Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству – даже совсем немислима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*» (курсив Достоевского).

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, – то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозво-

лен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства – боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:

«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»

Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться всю.

Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землю беседуют мертвецы.

«– Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!

– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса. С особенной готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

– На земле жить и не лгать невозможно, – сказал барон. – Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса («Бобок»).

Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением побороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.

Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении – была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попираание всего, чего нельзя попирает, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».

Когда с ближним случается несчастье, то в душе человека закипает хищная радость, – это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.

«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, – и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр. – даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).

Поистине, человек – это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto», – заявляет черт Ивану Карамазову. Я – сатана, и ничто человеческое мне не

чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму, – в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю, – говорит Иван, – что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.

«Как я донес букет, не понимаю, – сказал Версилов. – Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой... Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название – бог.

Федор Павлович Карамазов либеральничает:

«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить... Чтоб истина скорее воссияла».

Иван возражает:

«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят».

Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса».

III

Не забывающие про смерть

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, – «разумеется, материалиста» («Приговор»).

«Я не могу быть счастлив, – пишет самоубийца, – даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. *А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья* просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием *грозящего завтра нуля*. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».

Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, – не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость – думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только

есть логически разумных выхода – либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться

ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем доме встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.

Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.

Прометей у Эсхила говорит:

Я смертным дал забвенье смерти.

И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:

Но как могли про смерть они забыть?

Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо *неспособным* внутренне чують смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто, – говорит Шопенгауэр, – не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприменимы, – нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».

Бессмертным этого не понять. Не понять этого и *слишком* смертным, – тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.

Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней», – сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).

Страх смерти – это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишиться себя жизни, потому что *не хочет страха смерти*». «Вся свобода, – учит он, – будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить... Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».

Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет *внутри* человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, – так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это – полное уничтожение

смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его», – пишет самоубийца в «Приговоре».

«Я представляю себе, мой милый, – начал Версиров с задумчивою улыбкою, – что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье, – и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»... О, они торопились бы любить, чтоб заглушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

IV

«Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»

«А что, когда бога нет? – говорит Дмитрий Карамазов. – Тогда, если его нет, то человек – шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это... Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество, – без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:

«Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьезно и вправду веровать? Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что *лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (Медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть)*».

Человек беден безмерно. Это одинокий беспомощный калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен, – он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну, а мать, например, – способна ли хоть она-то любить своего ребенка «без санкций»? Право, кажется не удивись, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу».

Се – человеки могучие, слава сынов земнородных.

Были могучи они, с могучими в битвы вступали.

Эти Гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого, при идее такого убогого бессмертия, которое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то чтобы «добродетельны без бога», а гораздо больше: они были *добродетельнее* своих богов, – это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века! Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут.

Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире – не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство, – говорит Достоевский, – при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И, однако, комично последовательной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах».

«– В пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал, вдруг становится среди комнаты, и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» Взял фуражку, развел руками и вышел.

– Довольно цельную мысль выразил, – зевнул Ставрогин.

– Да? Я не понял; вас хотел спросить».

Мы, может, тоже бы не поняли. Но, подготовленные Достоевским, мы понимаем, – и понимаем, что это действительно весьма даже цельная мысль.

V

«Смелей, человек, и будь горд!»

В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка – бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевиднее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся из-под крышки дьявол – это и есть он сам.

Что же делать? «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку – и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, разомнется и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье, – пускай страшная жизнь, дьявольское счастье, но жизнь и счастье.

Человек из подполья пищет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела».

«Если нет бога, – говорит Кириллов, – то вся воля – моя. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив бога, не осмелился заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть».

И вот люди начинают заявлять своеволие, начинают проявлять свое самостоятельное хотение.

Самостоятельное хотение, раз сброшена с души упомянутая крышка, – это, конечно, что-то глубоко отъединенное от всего в мире, идущее исключительно в собственное *я* человека. Раскольников говорит: «Трудолюбивый народ социалисты и торговый; «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». В чем же жизнь? «Свобода и власть, главное – власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!.. Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Чтобы доказать себе, что он «смеет», Раскольников убивает старуху процентщицу. «Я не человека убил, я принцип убил... Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; *для себя убил, для себя одного...* Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Оказалось – тварь дрожащая. Проявить «самостоятельное хотение» до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, по-ребячески задирает Заметова и Порфирия, раскидывает на себя сети и беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя, отправляется на каторгу.

Раскаяния никакого Раскольников не испытывает, и вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении, – это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь «Преступление и наказание» – и недоумеваешь: как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, как могли видеть в романе истасканную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несет преступнику высшее наказание.

«Я сейчас иду предавать себя. *Но я не знаю, для чего я иду предавать себя,* – говорит Раскольников. – Преступление? Какое преступление? – вскричал он в каком-то внезапном бешенстве. – Не думаю я о нем, и смывать не думаю! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь!»

И с усмешкою дьявола он думает: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать – двадцать лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?.. Каким же процессом может это произойти? И зачем, зачем же жить после этого?»

Уже будучи на каторге, «он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаха...* И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы – ведь это тоже жизнь. *Но он не раскаявался в своем преступлении...* Вот в чем одном признавал он свое преступление: *только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной*».

В конце романа Достоевский сообщает, что в Раскольникове произошел какой-то переворот, что он возродился к добру. «Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен».

С «самостоятельным хотением» вступает в жизнь и Подросток. На груди у него документ, дающий ему шантажную власть над гордою красавицею, а в голове – «идея». Идея эта – уединение и могущество. «Мне нужно то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества; это – уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода. Я начертал, наконец, это великое слово... Да, уединенное сознание силы – обаятельно и прекрасно»...

«Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать и уйти к себе? К себе, одному себе! Вот в чем вся моя «идея».

Действительность оказывается более сложною и менее гнусною, чем предрешил Подросток. В падениях своих и унижениях он незаметно теряет идею. Для умудренного опытом юноши наступает «новая жизнь». Но опять – «в записки мои все это войти уже не может, потому что это – уж совсем другое».

Ставрогин – у него «идеи» нет. Его даже раздражает, когда все вокруг навязывают ему какие-то идеи. Он «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества». Он «в обоих полюсах нашел одинаковость наслаждения», стер все «черты» и как будто живет всюю.

Но одинаково во всем перед ним открывается темная, мертвая пустота, и он убивает себя. В предсмертном письме Ставрогин пишет: «Я могу пожелать сделать доброе лицо и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут».

Иван Карамазов учит: «Так как бога и бессмертия нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится... Все дозволено». Мысли свои Иван сообщает лакею Смердякову, Смердяков убивает отца-Карамазова при молчаливом невмешательстве Ивана. Иван идет в суд доносить на себя. И черт спрашивает его:

«Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? *А потому, что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты много бы дал, чтобы узнать самому, для чего идешь!..* Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь, и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты не решался, а решение уже не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь – это уж сам угадай, вот тебе загадка!»

Какое-то глубокое, неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчине Неточки Незвановой, в них все время происходит «отчаянная, лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия».

«Нянька будет моя!» – думает Раскольников про Соню Мармеладову. Ставрогин говорит Дарье Павловне: «Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попримячнее перед другими». Лиза говорит ему же: «Не хочу я быть вашею сердобольною сестрою, хотя вы всякого безногого и безрукого стоите». Версиков жене: «Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь, – так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?» Подросток пишет про себя: «Валылась на постели какая-то соломинка, а не человек, – и не по болезни только!» Иван Карамазов жалуется Алеше на черта: «Он меня трусом назвал! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил!»

Один только из всех героев Достоевского находит в себе достаточно силы, чтобы бесспорно переступить черту и заявить своеволие до конца. Это – Кириллов в «Бесах». И как же чудовищно жалко это торжество человеческого своеволия, каким ужасным поражением выглядит победа!

«Вся свобода, – учит Кириллов, – будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. *Вот всему цель.*

– Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

– Никто, – произнес он решительно.

Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Тот – бог. Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, – есть нелепость. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Имя его будет человекобог... Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

– Не успеет, может быть, – заметил я.

– Это все равно, – ответил Кириллов тихо, с покойною гордостью, чуть не презрением».

Как «все равно»? Дело вот в чем: «Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше

не будет, потому что не надо». «В этой идее для Кириллова как будто заключалась чуть не победа».

И вот происходит торжественное вступление человека в царство свободы, светлое преображение человека в бога:

«В углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно – неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стусеваться и спрятаться. Петр Степанович остановился, пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не шевельнулась ни одним своим членом, – точно восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространство. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу «этого мерзавца», поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка, – точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.

Затем произошло нечто безобразное и быстрое. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал и вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец, палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики:

– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!..

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел».

Кириллов стал «богом»... Чудовищные призраки пляшут вокруг и хохочут и приветствуют возвращение человека в недра первозданного хаоса.

VI

Извлечение квадратного корня

В чем же дело? Почему неизбежно подкашиваются бессилием попытки любимейших героев Достоевского зажечь свободную, цельную жизнью? Почему никому не удастся испытать светлое торжество «самостоятельного хотения»?

Да потому что на живое самостоятельное хотение ни у кого из них мы не видим даже намека. Кто из упомянутых героев действительно цельно, широко и свободно проявляет себя? Никто. Никто не живет. Каждый превратил свою живую душу в какую-то лабораторию, сосредоточенно ощупывает свои хотения, вымеривает их, сортирует, уродует, непрерывно ставит над ними самые замысловатые опыты, – и понятно, что непосредственная жизнь отлетает от истерзанных хотений.

Чуткий, благородный, самоотверженный Раскольников совершает бессмысленнейшее, никому не нужное убийство единственно для опыта над собою: посмеет ли он «переступить черту»?

«Неужели ты думаешь, – говорит он Соне, – что я, как дурак, пошел очертя голову? Я пошел, как умник, и это-то меня и сгубило! И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: вошь ли человек? – то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто

прямо без вопросов идет... Разве так идут убивать, как я тогда шел? Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки!»

Иван Карамазов после последнего своего свидания со Смердяковым решает идти в суд заявить на себя, то есть возвратиться по сю сторону «черты». На улице он спотыкается на замерзающего в снегу мужичонку, – час-другой назад сам же Иван ни за что, ни про что свалил его толчком в снег. Иван тащит мужичонку, вызывает людей, щедрою рукою сыплет деньги, чтобы спасти его. «Иван Федорович остался очень доволен. – Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то *не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет...*»

Всего замечательнее, что ведь и действительно в таком случае не остановился бы! И не потому не остановился бы, что ему не было бы жалко мужичонку, – нет! В качестве «переступившего черту» он прямо счел бы себя *не в праве* остановиться!

Ставрогин – это еще более форменный экспериментатор, вернее – фанатический фетишист «черты». Он только и делает, что упражняется в переступании черты и ищет для себя «бремени». Для этого он женится на слабоумной девице Лебядкиной, публично сносит пощечину Шатова, объявляет о своем браке с Лебядкиной, не мешает ее убийству. Никакой цели у Ставрогина нет, которая бы освящала его упорное шагание через черту. Черта сама по себе становится для него какой-то противоестественною, самодовлеющею целью. «Я пробовал везде мою силу, – пишет он в предсмертном письме. – *На пробах для себя и для показу*, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. Но к чему приложить эту силу, – вот чего никогда не видал, не вижу и теперь... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы: *но я не люблю и не хотел разврата*»...

Кириллов – детски прекрасная, благородная душа, ясно и чисто звучащая на все светлое в жизни. Но его, как и всех других, «съела идея». Человек обязан заявить своеволие, все на свете – «все равно», и «все хорошо». «Кто с голоду умрет, кто обидит и обесчестит девочку, – хорошо. И кто разmozжит голову за ребенка, и то хорошо, и кто не разmozжит, и то хорошо. Все хорошо».

И Кириллов заставлял себя спокойно смотреть на всякую гнусность, пишет под диктовку Верховенского предсмертное письмо, в котором берет на себя подлое убийство Шатова. В восторге вопит:

«Кому объявляю? Всему миру? Браво! *И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться!*»

Можно ли больше коверкать, ломать свою душу, чем делают эти люди, и все, им подобные! Ведь здесь такой надрыв, такой надрыв, что страшнее становится за человека, чем от самого зверского злодейства!

Происходит что-то совершенно непостижимое. Человек стоит перед «чертою». Кто-то запретил ему переступать черту. Человек свергнул того, кто запрещает, и стер черту. Казалось бы, перед человеком свободно открылся мир во всем разнообразии его возможностей. Человек может идти, *куда хочет*. Но не так для героев Достоевского. Переступили черту – и стоят. Им за чертою-то, может быть, делать нечего. Однако они стоят, смотрят назад и не отрывают глаз от линии бывшей черты.

Дьявол толкнул их на «самостоятельное хотение», на желание переступить черту. Но свободное хотение это они спешат немедленно превратить в «идею», более того – в своеобразный *далг*. И начинается какое-то неслыханное, противоестественное, бесцельное подвижничество – подвижничество во имя дьявола. Сознательно закрываются глаза на живую жизнь вокруг, истязается и кастрируется душа. Огонь самых пламенных стремлений, трепет глубочайших дум, нечеловеческое напряжение воли – все самоотверженно несут эти подвижники на свою «черту». Весь мир, вся жизнь для них – в этой узенькой черте.

Подвижничество всегда нравственно красиво. Вот почему таким глубоким благородством дышат и эти дьяволы подвижники. Но зло, как цель, совершенно несовместимо с подвижничеством. Вот почему подвижники эти так вопиюще неестественны и фантастичны. В жизни они совершенно невероятны, в действительности никогда не было и не могло быть ни Раскольникова, ни Кириллова, ни Ивана Карамазова. Был только один-единственный такой подвижник – сам Достоевский, и то он мог быть им только потому, что подвижничество свое проделывал в духе, а не в жизни.

«Рассудок, господа, – пишет подпольный человек, – есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок, а хотение есть проявление всей жизни, т. е. всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша, в этом проявлении, выходит зачастую дрянцо, *но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня...* Рассудок – только какая-нибудь одна двадцатая доля всей моей способности жить. Натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет... Мы – мертворожденные, да и рождаемся-то, давно уж, не от живых отцов, и это нам все более нравится. Скоро выдумаем родиться как-нибудь от идеи».

Есть у Льва Толстого один образ человека, «переступившего черту». Это – Долохов в «Войне и мире». Никаких над ним нет «норм», кроме «самостоятельного хотения». «От него самого происходит суд его и власть его», – как говорит пророк Аввакум про народ халдеев. Долохов зверски жесток и женственно-нежен, лихой смельчак и подлый шулер. Во всех отношениях он неизмеримо ниже Раскольникова или Ивана Карамазова. Но в нем одно есть, чего нет в них – живая жизнь. И прямо эстетически отдыхаешь душой, глядя, как, с наглою улыбкою в выпуклых глазах, он шагает через «черту», даже не видя ее, мимо всех этих скорбных, немощных жизнью подвижников, застывших над чертою в сосредоточенном извлечении из нее квадратного корня.

VII

Бифштекс на жестяном блюде

Есть у Достоевского другие герои: в извлечении квадратного корня они неповинны, теорией «черты» нисколько не интересуются, хотений «нормальных» и «добродетельных» не признают, а просто живут, проявляя себя и свое «самостоятельное хотение». Характерен среди них Свидригайлов. И чрезвычайно замечательно загадочное, очень трудно понимаемое отношение к нему Раскольникова.

Никаких «норм» Свидригайлов над собою не знает. С вызывающим и почти простодушным цинизмом он следует только своему «самостоятельному хотению». Нет мерзости и злодейства, перед которыми бы он остановился. Он изнасиловал малолетнюю девочку, довел до самоубийства своего дворового человека. Конечно, не смигнув, подслушивает за дверями, конечно, развратник и сладострастник. И решительно ничего не стыдится.

- «– Вы, кажется, игрок?
- Ну, какой я игрок. Шулер – не игрок.
- А вы были шулером?
- Да, был и шулером.
- Что же, вас бивали?
- Случалось...»

Но этот же Свидригайлов берет на себя устройство детей умершей Мармеладовой, хлопочет за них, помещает в сиротские заведения, собирается вытащить из омута проститутку Сою Мармеладову.

- «– С какими же целями вы так разблаготворились? – спросил Раскольников.

– Э-эх! Человек недоверчивый! – засмеялся Свидригайлов. – Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ль?»

После этого-то поступка Свидригайлова в отношении к нему Раскольникову и появляется та загадочность, о которой я говорил.

Дела Раскольникову уже очень плохи, он близок к тому, чтоб идти и донести на себя.

«В последнее время Раскольников, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то, чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее... Было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось».

Раскольников мечется в своей каморке. Морщась от стыда, он вспоминает о последней встрече с Соней, о своем ощущении, что в ней теперь вся его надежда и весь исход. «Ослабел, значит, – мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сердцем согласился, что так ему одному с таким делом на душе не прожить! А Свидригайлов?.. Свидригайлов загадка... *Свидригайлов, может быть, тоже целый исход*».

Сам Свидригайлов держится так, как будто он действительно знает какой-то исход. Случайно встретившись с Раскольниковым на лестнице, он говорит:

«Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой? Вы ободритесь. Вот давайте поговорим... Эх, Родион Романович, – прибавил он вдруг, – *всем человекам надобно воздуха, воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!*»

Непонятные слова эти глубоко западают в душу Раскольникову. Он говорит Разумихину: «Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим понимает».

Происходит последняя беседа Раскольникову с Порфирием. Порфирий дает ему срок денек-другой и советует добровольно пойти и заявить на себя.

Расставшись с Порфирием, Раскольников спешит к Свидригайлову. «Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним... Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. *Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, – о нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное...*»

«И он спешил к Свидригайлову; *уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указания, выхода?* И за соломинку ведь хватаются! Может быть, это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов так тут подвернулся. Соня? Но Соня была ему страшна. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. *Тут – или ее дорога, или его.* Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова: что он такое? И он не мог не сознаться внутри, что действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен.

Ну, однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, хитер, может быть, очень зол. *Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны;* но кто знает, для чего и что это означает?»

Встреча происходит – и почему-то совершенно разочаровывает Раскольникову. «Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. *В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире...*» «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!»

А чего же он ждал от Свидригайлова?

От Сони Раскольников ушел потому, что там была «или ее дорога, или его». Ее дорога – возвращение по сю сторону черты, к добру. Его дорога – пребывание за чертою, скорбное подвижничество во имя дьявола. Какой же дороги он ждал от Свидригайлова?

Во время этой последней их беседы, когда Свидригайлов, хохоча над Раскольниковым, с задирающим цинизмом выкладывает перед ним всю свою душевную грязь, Раскольников снова вспоминает о детях Мармеладовой.

«– *Вы однако ж пристроили детей Катерины Ивановны.* Впрочем... впрочем, вы имели на это свои причины... я теперь все понимаю».

Неужели хлопоты Свидригайлова о детях Катерины Ивановны внушили было Раскольникову предположение, что Свидригайлов каким-то образом сумел не переступить только, а действительно стереть «черту»? Что он в себе – *один*, что вокруг него тот вольный *воздух, воздух, воздух*, которого нет в душной психологической лаборатории Раскольникова?

Однажды, много раньше, в жизни самого Раскольникова было мгновение, когда ему вдруг почудился вокруг этот вольный воздух. Он доставил раздавленного каретою Мармеладова на квартиру и отдал его жене свои последние двадцать рублей.

«Раскольников сходил по лестнице тихо, не торопясь, весь в лихорадке, полный одного *нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни.* Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение».

На лестнице он беседует с полицейским приставом, который одно время подозревал его в убийстве старухи.

«– А как вы однако ж кровью замочились, – заметил пристав, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

– Да, замочился... *Я весь в крови!* – проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице».

Он «весь в крови». В крови старухи, которую убил, и в крови Мармеладова, которого спасал.

Раскольников останавливается на мосту, – несколько часов назад он с этого моста хотел броситься в воду.

«– Довольно! – произнес он решительно и торжественно. – Прочь миражи, прочь напускные страхи! Есть жизнь! Разве я сейчас не жил?»

Но вполне очевидно, что жизнь он видит вовсе не в простом возвращении к «добру». От убитой старухи он не думает отречься.

«Царство ей небесное и, – довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь! И... и воли, и силы... *И посмотрим теперь! Померяемся теперь!* – прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее».

«Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? – спрашивает Достоевский. – Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему. «можно жить, что есть еще жизнь». Может быть, он слишком поспешил с заключением, но он об этом не думал».

Так вот: не ожидал ли он теперь найти в Свидригайлове эту «полную жизнь», это умение нести на себе две крови, умение вместить в своей душе благодарный лепет Полочки Мармеладовой и вопль насилуемой племянницы г-жи Ресслих? Может быть, в глубине души самого Достоевского и жила безумная мысль, что вообще это каким-то образом возможно совместить. Но только полною растерянностью и отчаянием Раскольникова можно объяснить, что он такого рода ожидания питал по отношению к Свидригайлову.

Свидригайлов, конечно, разочаровывает Раскольникова.

Однако Раскольников не замечает, что на его безмолвный вопрос Свидригайлов дает ему ужасающий, но совершенно точный ответ.

«— Ведь вы пришли ко мне теперь за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутоватою улыбкою. — Ну, представьте же себе после этого, *что я сам-то, еще ехав сюда, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете чего-нибудь новенького, и что вот от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи!*

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю, чем? Видите, в каком трактиришке все время про-сизиваю, и это мне всласть, т. е. не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть... Ну, был бы я хоть обжора, клубный гастроном, а то ведь вот что могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике, на жестяном блюде, стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем.)»

Свидригайлов видит Раскольникову насквозь. Видит, что в свое дьяволово подвижничество он только спасается от невыносимости душевных противоречий, что подвижничество Раскольникову — не более, как «ужасный бифштекс с картофелем». Но такой у него самого в душе хаос, что ему не до гастрономии. Он рад бы удовольствоваться хотя бы даже раскольниковским «бифштексом», и бифштекс этот был бы ему «всласть, — то есть, не то чтобы всласть, а так», — надо же что-нибудь есть, чтоб не умереть... «Вот какие мы богачи!» «Идея» Раскольникову, мученически-упорное извлечение им квадратного корня — это все-таки дает хоть при-зрак жизни, дает силу не чувствовать смертной боли разрывающейся на куски души.

И, злобно смеясь, Свидригайлов вскрывает перед Раскольниковым всю чепуху противоречий, которой Раскольников старается не замечать.

«Но, однако, что же это такое? Объясните, ради бога, голубчик! Вы вот все охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай... Если вы убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонку можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку... Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что все еще и гражданин, и человек? А коли так, и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться».

VIII

«Вот какие мы богачи»

В последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов в полубреду вспоминает про Раскольникову.

«А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскачет, а теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ — подлецы».

Самому Свидригайлову *слишком* жить не хочется. Отдав душу свою на растерзание «самостоятельным хотениям», он с наружным спокойствием и с холодным отчаянием в душе идет к самоубийству.

Раскольников убедился в нем, как в грубом злодее, сладострастном развратнике и под-леце. Но Достоевский замечает, что заключение Раскольникову было неправильно. И, действи-тельно, Свидригайлов гораздо «оригинальнее», чем думает Раскольников. «Оригинальность» эта ярко вскрывается в чудовищной сцене последнего его свидания с Дунею.

Свидригайлов заманил Дуню в свою пустую квартиру. Пытается заставить отдалиться ему угрозою, что донесет на ее брата... Когда это не действует, прямо идет на насилие. Дуня выхва-тывает револьвер.

«— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. — Ну, это совер-шенно изменяет ход дела. *Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна!*»

Он идет на нее. Циничными, намеренно пошлыми словами напоминает про то, что было между ними.

«— Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

Он усмехнулся.

— Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй!»

Дуня стреляет. Пуля слегка задевает голову Свидригайлова. Но он, — этот «грубый злодей, сладострастный развратник и подлец», — он не бросается на Дуню.

«— Ну, что ж, промах! *Стреляйте еще, я жду*, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно. — Этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!»

Дуня стреляет вторично. Осечка.

«— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее».

Что это происходит? Словно в бредовом кошмаре, мы видим, как человек раздваивается на наших глазах, мучительно распадается на два существа; существа эти схватываются, душат друг друга, и одно из них покупает у другого право на злодейство ценою почти неминуемой смертной опасности.

Дуня бросает револьвер.

«— Так не любишь? — тихо спросил Свидригайлов. — И... не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он».

Мгновение «ужасной, немой борьбы». Свидригайлов отходит к окну, не глядя, кладет на стол ключ от выхода.

«— Берите, уходите скорей!.. Скорей!»

«В этом «скорей» прозвучала страшная нота. Дуня бросилась к дверям.

Странная улыбка искривила лицо Свидригайлова, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния».

Да, Свидригайлов вправе был смеяться над Раскольниковым, видевшим в нем какой-то «исход». Это он-то исход! В душе корчатся и бьются два живых, равновластных хозяина, ничем между собою не связанных. Каждому из них тесно, и ни один не может развернуться, потому что другой мешает. Сам не в силах жить, и не дает жить другому.

«Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — в ужасе говорит Версиков. — Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, бог знает, зачем, т. е. как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите».

«Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, — говорит Дмитрий Карамазов. Перенести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит! Нет, широк человек, слишком даже широк! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она сидит для огромного большинства людей».

Дело, оказывается, много сложнее, чем казалось раньше. Суть не в том, что какая-то воображаемая черта мешает «самостоятельному хотению» единой человеческой души. Суть в том, что черта эта вовсе не воображаемая. Она глубоким разрезом рассекает надвое саму душу человека, а с нею вместе и «самостоятельное хотение».

Старец Зосима говорит Ивану Карамазову:

«Если вопрос для вас не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете: это свойство вашего сердца».

То же говорит и Раскольников Дуне, приравнивая ее себе:

«И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, – несчастна будешь, а перешагнешь, – может, еще несчастнее будешь».

Быть самим собою, свободно проявлять самостоятельное свое хотение – это для Достоевского самая желанная, но и самая невозможная, самая неосуществимая мечта. Горит костер, на костре глыба льда. Скажи этой смеси: «будь сама собою!» Огонь растопит лед, растаявший лед потушит огонь, не будет ни огня, ни льда, а будет зловонная, чадающая слякоть. Будет Свидригайлов, Версилов, Дмитрий Карамазов.

«Ну, попробуйте, – пишет подпольный человек, – ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... Да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся обратно в опеку!»

В опеку ли зла, как дьяволы подвижники, в опеку ли добра, как Алеша Карамазов, – это безразлично. Только бы прочь от свободы, только бы поскорее связать разваливающуюся душу каким бы то ни было долгом.

«Ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы! – говорит Великий Инквизитор. – Они – бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие... Чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»

Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..» Как жалко, как надсадно звучит теперь этот буйный призыв! Он превращается в скорбный вопль Кириллова:

«Я только бог поневоле, и я несчастен, ибо я *обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие... Я ужасно несчастен, ибо я ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Только это одно спасет всех людей».

Но уже нет веры ни в осуществимость своеволия, ни в его спасительность. Боец бьется не за победу, а только за то, чтобы погибнуть со знаменем в руке.

Как будто гигантский молот непрерывно бьет перед нами по жизни и дробит ее на все более мелкие куски. Не только люди одиноки в мире. Не только человек одинок среди людей. Сама душа человека разбита в куски, и каждый кусок одинок. Жизнь – это хаотическая груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков.

IX

Любовь – страдание

Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины – грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.

Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах – любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения, – все, кроме способности к слиянному общению с жизнью. Душа как будто заклета злым колдуном. Горячо и нежно загораются в ней светлые огоньки любви, но наружу они вырываются лишь темными взрывами исступленной ненависти. Высшее счастье любви – это мучить и терзать любимое существо.

«Любовь, – пишет подпольный человек, – любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».

В «Униженных и оскорбленных» Наташа «инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить

без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая».

Если у Достоевского мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то читатель должен заключить, что они любят. И чем жесточе ненависть, тем это несомненное.

«– Но какая же ненависть! Какая ненависть! – восклицает Подросток про Версилова. – И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала?

– «Не-на-висть!» – с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна.

Ненависть – любовь, любовь – ненависть...

«Неужели он до такой степени ее любит? – думает Подросток. – Или до такой степени ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то?»

Князь Мышкин говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». И Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизу: «Из-под непрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает самая искренняя безмерная любовь и – безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть – самая великая!»

В «Египетских ночах» Пушкина Клеопатра вызывает желающих купить ее любовь ценою казни на следующее утро. Достоевский по этому поводу вспоминает о «сладоэрастии насекомых, сладоэрастии пауковой самки, съедающей своего самца». О «сладоэрастии насекомых» нередко вспоминает он и по поводу любви собственных своих героев.

Если припустить к куриной семье новую курицу, петух немедленно берет ее под свое покровительство. Он заботливо подзывает ее к пище, не дает обижать другим курам. Если она убежит, он отыскивает ее и ведет назад, и нежно что-то говорит ей на их языке: «ко-о!.. ко-о!..» Удивительно и трогательно, до чего доходит эта заботливость. На ночь петух сажает новую свою подругу на самый край нашествия, сам садится рядом и таким образом заслоняет ее от клевков старых кур. Когда курице приходит время нестись, петух ведет ее к кошелке, где несутся куры, впрыгивает в кошелку, садится, опять выходит, обхаживает курицу, все время «ко-о! ко-о!» и водворяет ее в кошелку.

Но в низах животной жизни любовь часто уродлива и страшна. У жаб и лягушек самка вываливается из жестоко-страстных объятий самца с продырявленной грудной клеткою, с поврежденными внутренностями, нередко мертвою. Паук подползает к самке с ласками, а она бросается на него и пожирает; или подпустит к себе, отдастся его объятиям, а потом схватит и сожрет.

Жабы и паучихи навряд ли, конечно, испытывают при этом какое-нибудь особенное сладоэрастие. Тут просто тупость жизнеощущения, неспособность выйти за пределы собственного существа. Но если инстинкты этих уродов животной жизни сидят в человеке, если чудовищные противоречия этой любви освещены сознанием, то получается то едкое, опьяняющее сладоэрастие, которым живет любовь Достоевского.

Страсть сливается уже не с тупым равнодушием к мукам и гибели любимого существа, а с ненавистью к любимому, с *желанием* его мук и гибели.

«Я вас истреблю!» – говорит Версилов Катерине Николаевне. Князь Мышкин, только что познакомившись с Рогожиным, из одного лишь общего впечатления от него выносит уверенность, что если он женится на любимой женщине, то через неделю зарежет ее.

Чем несоединимее люди, чем глубже разъединение, чем чудовищнее противоречия, тем как раз страсть ярче и острее. Свидригайлов рассказывает Раскольникову про свою невесту:

«– Мне пятьдесят, а ей и шестнадцати нет... Ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!.. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, – вся вспыхнула и слезинки брызнули, сама вся горит. Вдруг бросается мне на шею, целует и клянется, что она будет мне верною и доброю женою, что всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только «одно мое уважение». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание

наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, – согласитесь сами, оно довольно заманчиво! Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну, слушайте... ну, поедemте к моей невесте...

– Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развития и возбуждает сладострастие! И неужели вы в самом деле так женитесь?

– А что ж? Непременно».

Шатов в исступлении кричит Ставрогину:

«Знаете ли, почему вы женились тогда так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. Вы женились по страсти к мучительству, по *сладострастию нравственному*. Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен: «Ставрогин – и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка!»

Федор Павлович Карамазов умеет находить прелесть в любой «мовешке и вельфильке». Нашел он прелесть и в нищей идиотке Лизавете Смердящей.

Любовь упомянутых низших животных, при всей их дисгармоничности, все-таки дает впечатление силы и какой-то дикой мощи. Глядя на кипящую любовь героев Достоевского, невольно тоже ждешь: вот палящим огнем вспыхнет их сладострастие – зверино-жестокое, страшное, но цельное и самозабвенное, где отпадают все нравственные мерки, где страсть освещает само зверство. Но нет этого. Дух как будто совсем оторван от тела. Тело холодно, немощно и равнодушно, а горит один дух. В духе происходит кипение страсти, в духе переживаются острейшие моменты сладострастия.

Подросток «терпеть не может женщин». Осуществляя в фантазии свою идею о власти над людьми посредством денег, он мечтает.

«Не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. Я буду ласков с ними и, может быть, дам им денег, *но сам от них ничего не возьму*. Они уйдут ни с чем, уверяю вас, – только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

...с меня довольно
сего сознания».

Дмитрий Карамазов предлагает Катерине Ивановне нужные ей деньги под условием, чтобы она «секретно» пришла к нему на квартиру. Для нее это единственное средство спасти отца, и надменная красавица приходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.